

Валерий Бочков

КЛЕОПАТРА ЧИСТЫХ ПРУДОВ

Но когда я увидел эту третью девицу, то поразился ее красоте. Я благодарил небо, что проглядел ее прежде: без сомнения, я мог бы иметь ее четырнадцать часов кряду. Звали ее Сент-Илер — та самая, что под этим самым именем прославилась год спустя, когда один милорд увез ее в Англию.

Джакомо Джироламо КАЗАНОВА
«История моей жизни»

Часть первая

ТУТ

1

Не люблю смотреть на спящих. Они так незащитны, так открыты. Лица спящих просты, без обычных гримас, которые, как людям кажется, придают лицу выражение значимости или добродушия, или ума. Как можно ненавидеть спящего — глаза его закатились, в щелочку под вялым веком виднеется белок глазного яблока. Ненависть к спящему нелепа — с таким же успехом можно ненавидеть покойника. Глядя на спящего, я всегда думаю о смерти.



Кулик заснул сразу. Я вернулась из ванной, а он уже спал. Подмыться да зубы почистить — это сколько? — минут пять, от силы семь. Спал он с открытым ртом, но не храпел, буду честной — спал тихо.

Три часа назад, на съезде с Можайского шоссе, Кулик пытался, впрочем, не очень настойчиво, принудить меня к минуте. Не к месту

вспомнилась Янка Руднева — она произносила это слово с мягким знаком посередине и у слова появлялся французский привкус.

Мы съехали с Можайки на какой-то проселок. Ливень хлестал как сумасшедший, фары выхватывали куски придорожного мрака, обозначая там какие-то смутные формы, которые, не успев родиться, проваливались в кромешную темень. Кулик воткнул четвертую скорость и мягко опустил ладонь на мое колено. Не отрывая взгляда от дороги, он сдвинул руку повыше и сжал пальцами мое бедро, точно проверяя упругость мышцы.

У меня наготове было два вопроса: что ты сказал жене? И второй — неужели она тебе поверила? Работает безотказно. Его ладонь пропутешествовала в мою промежность, мизинцем он настойчиво тер шов на моих джинсах. Мне стало смешно: взрослый мужик — неужели он всерьез думает, что вот такое скобление мизинцем должно меня возбудить?

Словно угадав мою мысль, он начал говорить. Вот тут он мастак, это он умеет. Говорил негромко и неторопливо, даже забыв на время про джинсовый шов. Дворники нервно сновали по стеклу, своей прытью диссонируя с вальяжным баритоном.

— Там (пауза) рядом с дачей, — он ткнул небритым подбородком куда-то вбок, — течет речка Снопять... Неприметная речушка, каких не счесть по Руси. Один берег пологий, другой покруче. В заводях кувшинки желтеют, камыш острым листом шуршит. У мельницы заброшенной — омут, там карась с налимом ходят...

Чтобы ненароком не рассмеяться, левой рукой я обняла Кулика за шею, пальцами начала поглаживать бритый затылок. Костистый череп, колючий и шишковатый, наощупь напоминал теплую обивку старого дивана.

— Главное успеть до утренней зорьки, — в голосе появилась мечтательная душевность. — В предрассветный час, когда и дальний лес, и мельница, и мостки — все становится призрачным, аморфным, когда весь мир утопает в сиреновой дымке, — какое же счастье выудить из фиолетовой воды меднобокую рыбину — за миг до рассвета...

Я добралась до дальнего уха. Мочка была мясистая и на удивление холодная.

— ... и чешуя на ладонях будет сверкать, как потускневшие золотые монеты из тех сундуков с затонувших испанских галеонов...

Ушная раковина казалась резиновой. Точно — медицинская резина, из такой грелки делают. Лишь бы не читал стихов. И он тут же начал:

*Звезда упала. На устах у всех
за нею вслед желанье просияло:
что истекло и что нашло начало?
Кто провинился? Чей испулен грех?*

Он сделал паузу, ожидая восхищения. Я решила подыграть — ну, не законченная стерва же. К тому же моя память набита словесным хламом из разряда лингвистической мастурбации, три семестра «Теории критического анализа» даром не проходят:

— Поэзия балансирует на грани религии и магии, от которой произошла, и выбор между тем и другим неизбежно ведет к отказу от поэзии — или от веры. Вследствие этого разлома, жизнь большинства поэтов так трагична. Поэт — это шут, юродивый, скоморох — его редко воспринимают всерьез. Но если уж...

Кулик не дал договорить. Жаль — так я могла еще минут сорок молотить. Перебил, повысив голос.

— Нет! — страстно. — Нет!

И тут же:

— Поэт — это безумец, который голым выскакивает в грозу с надеждой, что в него попадет молния.

Кулик замолчал, приподнял гордую голову и даже слегка выставил вперед челюсть. Мой ход — пауза оставлена специально для меня. В огне фар косой штриховкой мельтешил дождь, шоссе блестело как мокрая крыша.

— Выходит... — сдавленным голосом имитируя вождение, произнесла я. — Выходит, гроза — это ...

Пауза. Его ход.

— Нет, милая, ты — молния!

Кулик посмотрел на меня, пристально и строго, будто прикидывая на глаз мощь моего электрического заряда. Настоящий повелитель стихий и ловец молний. Его ладонь накрыла мою, он притянул ее и прижал к своей промежности. Мягкий бугор гениталий оказался весьма средней величины. За окном проплыли дохлые огоньки неведомой деревни, какая-то будка на столбе вроде тюремной вышки, все это на берегу черного водоема с желтым прожектором на той стороне. У Янки Рудневой была личная квалификация мужских гениталий — от «свистульки» до «пушки». Я сжала пальцы, комок под моей ладонью до «пушки» явно не дотягивал.

Кулик перешел на третью передачу. Движок надсадно пыхтел, в кабине завоняло выхлопом. Мы взбирались на невидимую гору. Кулик развел колени, ухватив мой затылок, попытался наклонить голову — все молча. В ребра — весьма ощутимо — воткнулась ручка переключения передач. Он продолжал давить на затылок. Это что — заветная фантазия или уже какая-то дура проделала тут такой аттракцион? От штанов пахло мокрой тряпкой, так воняло в классе после «влажной уборки» — мелом, детским потом и протухшими тряпками. Запах счастливого детства, он с тобой навсегда.

— Мой дорогой, — обратилась я прямо к его гениталиям. — Давай повременим. Если машина влетит в колдобину, то я могу просто откусить его.

Я слегка сжала пальцы. Он убрал руку с затылка — равнодушно. Надулся: мол, тебе же, дуре, хотел радость показать. Щурясь, стал всматриваться в дорогу.

Как можно быть таким убожеством — монеты из тех сундуков с затонувших испанских галеонов — ну как можно произносить такую пошлость вслух, даже если она и пришла тебе на ум?

Я разогнула, правой рукой нашарила сбоку рычаг, рывком отодвинула кресло назад. С наслаждением вытянула ноги. Не так чтоб длинные, но весьма стройные, кстати, тридцать восьмого размера, с хрупкими лодыжками и мускулистыми икрами, которые переходят в упругие ляжки — не забудь про миниатюрные коленки ручной работы — и упираются в ягодницы — пара крепких и правильной формы ягодниц, далее убедительная талия (изящная — штамп, но он в точку), грудь среднего калибра — две штуки тоже — с задорными сосками. Что еще — плечи, руки, с любовью вылепленная шея, лицо, плюс два иностранных языка (один из них — китайский) и надежда, если не на спасение, то хотя бы на вечный покой.

2

Я бы никогда не смогла работать проституткой. Не вокзальной шлюхой, а настоящей профессионалкой в сапогах змеиной кожи на хищной шпильке — с постоянной клиентурой, графиком у массажиста, в парикмахерской и в маникюрном салоне. Физиологическую часть я бы еще кое-как потянула, если исключить анал и поцелуи в рот;

в конце концов, совокупление можно рассматривать как вид аэробики — акт средней интенсивности сжигает триста калорий и считается неплохим кардио для укрепления сердечной мышцы.

Психология — вот что смущает. Как утомительно скучно, боже, как омерзительно было бы погружаться во внутренний содом каждого клиента, распутывать фобии и раскладывать по полкам комплексы, выслушивать нытье про жен, тещ и мам, про подружек, брошенных сто лет назад; вникать в кухонную банальщину подленьких измен и незатейливого вранья, да еще с именами и датами — позапрошлым летом на Кипре, Ленка из маркетинга, Мальдивы-Сейшелы-Канары, Селиванова-стерва из бухгалтерии, круиз, лыжи в Альпах (шале только для своих, русских нет вообще) и, конечно же, Таиланд и Маринка с триппером — господи, этого не компенсируешь никакими гонорарами.

Я пытаюсь — безуспешно — убедить себя, что отсутствие монетарной составляющей в моих сексуальных эскападах, выводит мой блуд на уровень чуть ли не антропологических исследований, фокусом коих является наблюдение за девиациями и рефлексорикой мужских особей, относящихся к представителям так называемых творческих профессий, на деле же не больше, но и не меньше, чем беспорядочные половые сношения с неумелыми художниками, бездарными музыкантами и посредственными писателями. Под кроватью в папке хранятся трофеи — эскизы и наброски, несколько непохожих портретов, книжки в мягких переплетах с автографами на титульном листе, пара тощих рукописей на дешевой бумаге и даже самодельный CD с невнятной фортепианной сонатой, посвященной мне. Впрочем, соната как раз получилась ничего. Но всего этого мусора явно недостаточно чтобы заткнуть дыру в моей душе. Дыру размером с небольшую галактику.

3

Он — Макс Кулик (с ударением на «у», имя и фамилия — псевдоним), женат дважды, первый раз — по дури, второй — из корысти (кинопродюсер, мужиковатая, на полголовы выше и на три года старше), выпустил четыре книги, был сперва обласкан премиями и критиками, назывался новым Буниным и даже юным гением, тогда длинноволосый и красногубый, с профилем матадора, сейчас бритый под ноль — лысеем-лысеем, чего уж там, — но зато при аккуратненькой

бороде, что придает ему вид беса или торговца сухумской чурчхелой; каждое интервью начинает с преамбулы «Я человек не слишком образованный и не очень умный», чтобы в основной части выступления сверкнуть эрудицией и остроумием; носит яркий шарф, преподает в лите, ведет мастер-классы на любую предложенную тему, входит в редколлегии, жюри и президиумы, но продолжает одеваться, как подросток, — кеды, майка «Секс-пистолс», капюшон. Курить бросил, пьет умеренно.

Я — Ангелина Злобина с Чистых прудов, мертвая неудачница, завистливая и с дрянным характером. И добавить к этому нечего.

4

Дача снаружи выглядела паршиво. Деревянный сруб, выкрашенный в шоколадный цвет. Изнутри — еще хуже. В основном из-за стыдных попыток выдать бедность за дизайнерский концепт с неловкими вкраплениями уродливых элементов, вроде меловых кораллов по пояс или здоровенных ракушек с вагинальной розовостью нутра, мол, глядите — путешествуем по Карибам, а вот, полюбуйтеесь — коврик из Танзании с орнаментально стилизованным жирафом. По стенам картинки с Монмартра, эстампы из Флоренции, на диване и креслах кожаные подушки с мумиями и Нефертити.

Единственное, что радовало — запах здоровой дачной плесени. Смесь гнилой антоновки, погреба и мертвых мышей. Кулик заставил меня разуться в прихожей. Сам тоже снял ботинки и остался в серых носках. Я рассчитывала на обзорный тур по комнатам, но мы застряли в первой — должно быть, гостиной или столовой, не знаю, как они ее называют.

Камин, мелкий, очень незначительного, какого-то стеснительного размера, был выложен диким камнем, на полке сверху стояли красивые фотографии Кулика и кинопродюсерши, в затейливых рамках, даже золотых. В углу темнел копченым ликом Николай-угодник и лампадка с карамельным стеклышком: ныне, присно и во веки веков — аминь. Была еще бордовая картина с рамой как бы из музея с платиновой табличкой и громадные лосиные рога.

Кулик неслышно подкрался сзади и сжал мои ягодички. Я вздрогнула, он хрипло прорычал мне в затылок, дохнув коньяком. Понятно — переходим к главному номеру программы. Мимоходом подумалось:

будь Кулик маньяком, он запросто мог бы укокошить меня здесь. Зарезать? Не, это вряд ли, жалко паласа, кремового с густым ворсом; скорее, стал бы душить — повалил на пол, сам сверху, полиэтиленовый пакет на голову...

— Раздевайся! — приказал тихо.

Сел в кресло — развалился, в левой руке бутылка коньяка, правой расстегнул молнию на штанах, просунул туда ладонь.

Я вышла на середину комнаты. Через голову, вывернув наизнанку, стянула черный свитер. В окне отразилось бледное тело с черной полоской лифчика. Снаружи хлестал ливень, грохот стоял адский, никогда не думала, что обычный дождь может так шуметь. Спустила джинсы. Неловко путаясь в тесных штанинах, сняла.

Кулик механическим жестом подносил бутылку к губам и отхлебывал из горлышка, его глаза становились темнее и будто ярче. Он смотрел пристально, не отрываясь, словно боялся что-то упустить. Снаружи заворчал гром. Я расстегнула лифчик и кинула в него, целясь в лицо. Промахнулась. Лифчик повис на спинке кресла. Инстинктивно прикрыла соски ладонями. Было зябко, стыдно и скучно. Смертельно захотелось выпить.

Изображая руками смутно гавайские жесты, я медленно приближалась к креслу. Больше всего мне хотелось сдохнуть или хотя бы на время исчезнуть. Оба желания являлись невыполнимыми в силу причин, не зависящих ни от кого из присутствующих: тут, там и далее везде — до самого конца вселенной.

5

Дальнейшее описывать тошно: тело, голубоватое от обильно растущих повсюду (даже на лопатках и плечах) седоватых волос, неубедительная татуировка на предплечье — что-то brutальное с кинжалами и цепями, — выпирающий живот при всеобщей худобе, — Кулик яростно срывал с себя одежду, отбрасывал ее; одновременно хватал меня за ляжки и ягодицы и пытался рывком насадить на воображаемый фаллос, поскольку реальный напоминал скорее земноводное — мелкое и квелое, — а уж никак не сакральный символ мужской силы и могущества. Символ, по калибру, оказался покрупнее «свистульки», но до «пушки» явно не дотягивал. Кажется, такой размер квалифицировался Рудневой как «дудка».

К тому же нам так и не удалось растормошить его (да, слово «дудка» мужского рода). Кого тут винить — Кулика или меня не знаю, но на протяжении всего действия «дудка» вел себя снисходительно, словно делал нам одолжение. Интерес проявлял, но весьма вялый. Несколько раз ехидно вышмыгивал из меня.

Мы барахтались сперва на диване. Кулик силло хрипел, я задыхалась под его весом. Напоминало это неумелую драку. Его неказистое тело состояло из острых углов. Воняло коньячной сивухой, потом и приторным одеколоном.

Когда мы сползли на ковер, Кулик завалился на спину и усадил меня сверху. В четыре руки нам удалось заправить «дудку» в меня. Для подъема духа я начала восторженно стонать и закидывать назад голову. Кулик уже рычал совсем по-звериному, очевидно, тоже пытаюсь как-то воодушевить себя. Я азартно елозила взад-вперед, «дудка» продолжал выскальзывать. Кулик пальцем запихивал его обратно. За окном хлестал ливень, раскаты грома звучали совсем близко. У меня ломило спину, колени стерлись и горели от чертового паласа. Через силу я выкрикивала неубедительные «Дай мне», «Хочу еще» и прочую чушь. Казалось, мучение будет продолжаться вечно.

6

Мука все-таки закончилась.

Я выползла из-под него — последняя фаза пытки проходила в миссионерской позиции, — задыхаясь, скользкая от пота, опустошенная и в смертельной тоске, я откатилась в сторону и закрыла лицо ладонями. Жалость к себе, отчаяние и несправедливость мирового устройства — шершавым комком застряли в горле. Я непроизвольно всхлипнула, и чуть громче, чем хотелось.

— Ты что? — Кулик навис надо мной, вцепился в мои запястья. — Что случилось?

Он тряс меня, зачем-то он пытался убрать руки от лица.

— Что с тобой?

Я снова всхлипнула, на сей раз нарочно. Распахнула глаза и невинно уставилась на него. Кукла Маша — говорящая и с глазами.

— Что? — В его голосе улавливался скрытый то ли восторг, то ли предвкушение какой-то радости.

— Ты знаешь... — я невинно моргнула (на самом деле мне было трудно представить, что я сейчас произнесу эту фразу), — ты знаешь, ты — мой первый мужчина. До тебя со мной были лишь мальчишки.

Мне удалось сказать это и не рассмеяться. Фраза пошлая и глупая, использую ее лишь с девственниками и робкими дилетантами. К тому же я дрянная актриса, и безусловно Кулик заслуживает лучшего обхождения. Но он застал меня врасплох, к тому же я дико устала, да-да-да — у меня ныла спина и горели стертые колени — я пребывала в черной тоске. Впрочем, вся эта дребедень тоже никак не может служить оправданием.

Дальнейшее оказалось еще гаже.

Кулик разжал пальцы и отпустил меня. Пятясь, отполз к дивану. Уперся спиной. Взгляд пристальный и слегка дикий. Мокрые, по-бабьи пухлые губы, слишком яркие для мужика. Потные волосы грязными разводами прилипли к груди, живот тоже был волосат. Бесплезная «дудка» съежилась в «свистульку» и стала не больше моего клитора.

— Ангелина...

Он сделал целомудренную паузу, а я чистосердечно удивилась, что он помнит мое имя.

— Если начистоту... — продолжил он с интонацией, словно собирался поведать мне тайну. — Мне ты казалась более искусенной, что ли... Более...

— Развратной?

— Нет, скорее, изощренной.

Я смиренно опустила глаза, пытаюсь представить, куда он клонит. Из меня на ковер вытекла маленькая лужа. Я хотела подняться, он схватил мою руку.

— Я сейчас, — сказала.

— Не надо!

— Ковер...

— Черт с ним!

Притянул меня, посадил напротив. Пальцами — указательным и большим — взял меня за подбородок, чуть приподнял, разглядывая лицо. Потом бесцеремонно прихватил мой сосок и сжал — весьма чувствительно, до боли. Похоже, он решил, что после моего сказочного оргазма, со мной можно делать все, что ему взбредет в голову. В последнем романе Кулика героиню насилюют пятеро узбеков, после чего она выбрасывается из окна.

— А с девчонками, — он снова сдвинул сосок, — с девчонками ты спала? Ну, началось. Невинно спросила:

— Зачем?

— Ну как... — Он сглотнул. — В Элладе юных гетер отдавали на обучение опытным лесбиянкам. Для развития чувственности. Среднестатистический мужчина не понимает всей тонкости женских настроек. Мужской оргазм прост и незатейлив, это все одно, что сравнить битье в бубен с игрой на арфе.

Очевидно, себя Кулик причислял к некоей сексуальной элите. К рыцарскому ордену умелых и неотразимых Дионисов и Приапов, способных даровать высшее наслаждение парой ловких тычков своего волшебного фаллоса. Мне стало жаль кинопродюсершу — симулировать божественный оргазм, а после додрачивать себя, пока он моется в душе. Хотя, может, у нее есть кто-то на стороне — тоже какие-то студентки или практиканты со студии.

Кулик дотянулся до коньяка, сделал большой глоток из бутылки. Протянул мне. Я отпила, стараясь не касаться губами горлышка. Вкуса не ощутила, коньяк был пресный, как вода комнатной температуры.

— Когда вы сидите передо мной в аудитории, я не могу отказать себе в фантазии и вообразить каждую из вас — вот так... — он вытер мокрые губы ладонью, — как ты сейчас...

Кулик забрал бутылку, отхлебнул.

— Руднева, кстати, которая за тобой... — еще глоток, — знаешь, какими глазами она на тебя смотрит? Я бы на твоём месте непременно с ней...

— С Рудневой?

— Да! — он азартно закивал. — Чудесная девка! Настоящая валькирия — боже! Какой круп, господи! А какие ляжки! Брунгильда!

Его «свистулька» приподняла розовый клювик и выглянула из мотка пегих волос. Неужели снова полезет?

— Вот если бы ее сюда заманить — представляешь?

Без энтузиазма я пожала плечом.

— Алкоголь, немного кокаина. Музыка атмосферная, нью-эйдж, типа, или «Сигур Рос»... — Его лицо выглядело неопрятно, борода, бабьи губы красные. — Да-да, я думал про это, думал, если грамотно организовать, то очень даже может сработать! Очень!

До меня дошло, что он здорово пьян. Ливень продолжал хлестать с какой-то inferнальной яростью. Мне стало жутко до мурашек, как это бывает в скверном сне.

— Она ж, Брунгильда, будет себя ощущать в безопасности, понимаешь, я же вроде как с тобой, самки никогда не опасаются самца, если он с другой самкой.

В саду полыхнуло белым, тут же шарaxнул гром. Я вздрогнула и оглянулась, в большом окне отражалась комната, рога на стене, два голых тела на фоне дивана. Кулик схватил меня за шею — зло и больно.

— Какая же ты дура, Злобина! Ты сама не понимаешь своей власти! Я ж видел, у Брунгильды глаза василиска — сапфиры, алчущие лакомств, когда на тебя глядит, — сладострастные, похотливые глаза! Ты ж нецелованная мышка, тайный персик, монашья целка — вот ты кто! Маленькая чертовка — да! С тебя сериал снимать надо из жизни древней Эллады про греческую рабыню с мальчишеской грудью, про танцовщицу на канате или финикийскую гетеру!

Он зарычал и звонко хлопнул в ладони. Из сада ответила могучая канонада. Он усмехнулся и одобрительно кивнул.

— Пиши, что любишь! Люби, что пишешь! Впусти с себя жизнь, отдайся ей! — Кулик замахал кулаком перед моим лицом. — Пусть она тебя вздрючит, эта сука жизнь! Только так! Только так можно стать настоящим мастером — через боль, через страдание, через любовь! Через смерть! Понимаешь ты, манда татарская, через смерть?!

7

Слова эти я уже слышала раньше — в аудитории, не про манду татарскую, про писательское кредо мастера. Не очень ясна была логическая взаимосвязь с групповухой: с его подростковой фантазией оттрахать меня и Рудневу на пару. И еще — откуда такая уверенность, что он нас двоих потянет? Техника исполнения и артистизм, продемонстрированные Куликом полчаса назад, заслуживали от силы вялую трочку.

Он продолжал орать, авторитетно и с надрывным пафосом, жестикулируя и выставляя руки картинным манером, заученно и нелепо. Вдруг запнулся и замолчал. Неожиданно помрачнел, схватил меня за щеки и стиснул. Понизив голос, прошипел:

— Ты что ж, думаешь, мне самому это по нраву? Перед вами, крошечками, наизнанку душу выворачивать? На всю группу таланта — во! — Кулик выставил мизинец. — С гулькин...

Гром перекрыл матерное слово.

Он принялся ругать писателей, называя фамилии и обидные клички. Особенно досталось авторам экранизированных книг. Так — тупо, зло и неизобретательно — матерится пьянь с рабочих окраин. Никогда прежде я не слышала от него такой грязной, такой грубой брани. Пафос сменился глухой злостью. Исчезла плавность жестов. Он побелел лицом, даже ярко-алые губы поблекли.

— У меня ж первая публикация в пятнадцать лет была! Журнал «Дружба народов»! Премия «Дебют», премия «Лицей», — он азартно хлопал ладошкой по голой ляжке, — премия «Русский Букер»! «Букер», твою мать, Злобина! Тебе, зассыхе, такого не выдать во веки веков — ты это хоть понимаешь? Сука! Сволочь! Мразь!

Он вцепился в голову руками, точно хотел содрать лицо с черепа. Зашелся в кровавом рыке — царь Эдип, ничуть не меньше. Рык перешел в стон, стон — в тихий вой. Он сгорбился, сник, стал будто мельче и младше, притих нищим переселенцем на богом забытой пристани. Съежился и замер. Лишь изредка беззвучно всхлипывая горбатой спиной.

8

Когда я вернулась из ванной, он уже спал. Мельком взглянула — рот был приоткрыт с детской невинностью, руки раскинуты, удивленные ладошки глядели в потолок. Придерживая на груди концы полотенца, я вплотную подошла к окну. За моим черным силуэтом отражалась желтая комната. Я попыталась разглядеть свое лицо, в силуэте была лишь чернота, внутри которой хлестал серый дождь.

Больше мне тут делать было нечего.

Происшедшее, включая дорогу, заняло чуть больше трех часов. Облегчения от завершения всей этой мерзости я не испытала никакого. Наоборот, догадка, промелькнувшая вначале, обратилась в уверенность: все останется по-прежнему, словно меня тут никогда и не было. Даже если я буду возвращаться сюда снова и снова хоть тысячу лет.

Я вышла в прихожую. Распахнула дверь, ливень ворвался грохотом водопада. Пахнуло промокшей сиренью, ночью, грозой. Фонарь над крыльцом освещал сад, глянцевый и темный, моргающий мокрыми бликами. По плиткам дорожки неслись потоки дождевой воды. У за-

бора, уткнувшись в сиреневый куст, стояла машина, на который мы приехали — старая «королла» морковного цвета.

Дальнейшее произошло как-то само собой, без особого участия моего разума: я отбросила полотенце и голой вышла под ливень. Сбежала по ступенькам — стремглав, совершенно не боясь поскользнуться. Неслась во всю прыть — как бегала девчонкой. Лужи оказались почти теплыми, дождь тоже.

Я пронеслась по мощеной дорожке, с разбега вскочила на капот «короллы». Полый металл гулко ухнул под моими пятками. Капли звонко барабанили по корпусу машины, точно били в пустую железную бочку. Ловко — одним махом — я запрыгнула на крышу. Раскинула руки крестом, подставила лицо ливню. Начиналось самое восхитительное, самое главное — то, ради чего стоило возвращаться сюда.

Я смеялась, захлебываясь дождем, хохотала, кажется, что-то кричала. Экстаз, переходящий в истерику, словно кто-то пытается защекотать тебя до икоты, до слез, до смерти. Да, как в детстве, когда от хохота можно напустить в трусы.

Я размахивала руками, как птица, прыгала. Крыша гремела и прогибалась под моими крепкими пятками. В дешевой японской жести оставались вмятины, но мне было плевать на крышу. Мне было плевать на все! На приличия и условности, на нормы поведения в обществе и правила хорошего тона. На успех, славу и богатство — плевать-плевать-плевать!

Плевать на всю эту дурацкую жизнь, которую мы устроили с единственной целью — мучить друг друга.

То был апофеоз свободы, триумф безнаказанности. Миг абсолютного счастья. Миг, ради которого стоит жить. Миг, за который не жалко умереть.

Как всегда, молния шарахнула внезапно. Каждый раз застает врасплох, даже когда ждешь и тебе кажется, что ты готова. Я лишь успела задрать голову. Ослепительно белый шар лопнул прямо надо мной и разлетелся холодным фейерверком, из центра шара зигзагами вырвались искрящиеся щупальца, одно из щупалец целило мне прямо в макушку, оно неслась вертикально вниз, как копье.

На мгновение время остановилось — капли ливня застыли в полете, синие электрические брызги замерли острыми осколками вдребезги разбитого стекла. Неоновый перпендикуляр почти коснулся моей головы. Я успела услышать гром — то был треск разрываемого напополам черного неба.

Часть вторая

ТАМ

9

Моим соседом оказался суетливый мертвец с внешностью некрасивого итальянца-южанина с громким смехом и ухватками карточного шулера в маскарадном камзоле с золотым шитьем и кружевным воротником из реквизита какой-то комедии Бомарше вроде «Севильского цирюльника». Этот Фигаро пару раз пытался заговорить со мной, но я делала вид, что сплю. Под конец поездки я действительно задремала. Когда проснулась, итальяшка приставал к соседу справа, лысому прокопченному старикану с внешностью отставного марсельского грабителя.

— Настоящий живописец не может не любить запаха краски, — мрачно оборвал старикан итальянца. — С этого и начинается искусство — с запаха! Великое искусство!

— Кстати, — подхватил моментально тот, — мой брат тоже художник. Благодаря моей рекомендации он получил заказ на роспись шпалер в резиденции кардинала Аррузио...

— В задницу твоего кардинала! — заорал лысый. — И брата тоже! В жопу!

— Весьма и весьма! — не унимался Фигаро. — Вы же помните мое приключение на острове Корфу, ту уморительную историю с мертвым бараном? Ни разу сердечная склонность не нарушила на Корфу моего душевного покоя: разве только случилось у меня приключение с дочерью прачки, о котором говорю лишь потому, что благодаря ему расширились познания мои в физике. Остановлюсь, с вашего позволения, на этом подробнее...

Кто-то тронул меня за локоть. Смуглая женщина в сари изумрудного цвета с оранжевым цветком на груди — она сидела слева и глядела на меня оленьими глазами. На лбу у нее была нарисована темно-красная точка — бинди.

— Вам, европейцам, непросто все это понять, — она ласково погладила мою руку. — Пестуй муладхару и обретешь силу прыжка лягушки. Двумя пальцами выше ануса, двумя пальцами ниже йони, на четыре пальцы в ширину...

— Любопытно, что восточная традиция, — тут же встрял итальянец, — не только оправдывает феминическую мастурбацию, но и считает ее непреложным условием взращивания чувственности и культивации эроса у особей прекрасного пола...

Индианка ласково ему улыбнулась, а до меня дошло, что на лбу у нее не бинди, а входное отверстие от пули малого калибра. Итальянец воодушевленно продолжил:

— Для девочек здесь нет большой опасности, ибо они могут потерять лишь весьма малое количество вещества, которое к тому же происходит из иного источника, нежели зародыш жизни у мужчины. Однако есть у нас доктора, полагающие, что бледность у девиц происходит именно от этого.

10

Впереди показался вокзал. Циклопическая конструкция, похожая на Вавилонскую башню, отлитую из матового стекла. Текучесть линий и гибкость форм сочеталась с филигранной кропотливостью отделки — изнутри здания сочился мягкий свет. Прозрачные капсулы, вроде нашей, бесшумно проникали внутрь. Зрелище напоминало демонстрацию работы ловкого механизма, часового, скорее всего, швейцарского, или какой-то затейливой игрушки для развлечения монарха, придуманной гениальным художником-изобретателем, — как если бы Леонардо да Винчи стал богом и получил безграничную возможность воплощения своих безумных конструкций.

Их было много, этих перламутровых капсул, и двигались они скоро, однако плавно и легко, точно скользили по невидимым рельсам. Никаких рельсов не было по причине отсутствия сил трения и тяготения, впрочем, и остальные законы земной физики здесь особой роли не играли тоже, что вкупе с невозмутимой тишью персикового неба, сливочной белизной перистых облаков и чувством ленивого покоя невольно наводило на мысль о загробной жизни.

За моей спиной кто-то меланхолично произнес:

— Самое удивительное, что все это может находиться внутри одной снежинки.

Другой голос шепотом отозвался:

— Или на острие иголки.

— И добавьте туда же всех ангелов священного Августина...

Обсуждать происходящее считалось неприличным, на эту тему не говорили — старались не говорить. «Где мы и что это такое», каждый решал интимно, сам с собой. Нарушителей карали: на моих глазах францисканский монах, затеявший проповедь, просто лопнул, как мыльный пузырь. Он утверждал, что вокзал является точной копией Дантова ада — только вверх ногами — и все грешники доставляются на надлежащий уровень, соответствующий тяжести их прегрешений. Лопнул без звука и исчез без следа. Впрочем, элемент здравого смысла в такой теории безусловно присутствовал.

Капсула, не сбавляя хода, проскользнула внутрь вокзала и мягко встала. Сверху лился сладкий матовый звук, округлый и ласковый. Трудно было определить, какой из органов чувств за что отвечает: слух тут сливался с обонянием, зрение с осязанием, я себя ощущала сверхчувствительной — здешние запахи были восхитительны — точно я проснулась среди ночи, а за окном конец мая, полная луна и куст жасмина.

Здешние стихии имели плавное свойство перетекать из одной в другую, богатство теней от голубого до темно-лилового, градации света от лимонного до вязко-медового — добавить сюда проворство бликов — превращали мир в затейливый витраж, но не плоский, вроде окна в соборе, а в объемный и подвижный — почти живой, в котором и ты сам одно из звонких стекол.

Тот монах уверял, что степень наказания зависит от материальности проступка: грехи невоздержанности — гнев и уныние, сладострастие, обжорство — не должны входить в категорию смертных и караться бесконечной пыткой.

11

А может быть, я неверно толкую происходящее. Придаю сну или бреду свойства чего-то более значительного? Загробный мир? Ад? Чистилище? Не слишком ли упрощенно — до примитивного: ведь, согласитесь, даже самые мудрые из нас не так уж мудры. Проверенные мысли, что уютней плюшевых тапок под кроватью.

Ведь тот — наш мир — если отвинтить его нижнюю крышку, не так-то хитро он и придуман, колесики деревянные да пружинки — не

сложнее шарманки, а уж снаружи и говорить нечего — бутафория, кое-как сколоченный и наскоро покрашенный макет, не более...

... А может, это просто болезнь, и я пребываю в клинике на Воробьевых горах в состоянии глубокой комы — кто знает? кто оттуда возвращался, и всё ли у вернувшихся оттуда ладно с памятью — тоже вопрос.

И еще: если лишить нас привычных мер и ориентиров, то мы тут же станем приспособлять известное к непонятному. Метрами измерять любовь или тоску. Взвешивать в граммах синеву ночи. Это вместо того, чтобы попробовать разобраться. Постараться вникнуть и понять. Так двоечник подгоняет решение задачи к подсмотренному в конце учебника ответу — муляж истины, который не сочнее яблока из папье-маше, раскрашенного вялой гуашью. Нельзя использовать логику мускулистой мысли там, где кружева сотканы из дымки небытия.

12

Сверху нежно звякнули хрустальные бубенцы, оповестившие о том, что капсулу можно теперь покинуть. Мы вышли в зал нашего уровня с высоченным куполом, который просто не мог быть такой высоты, исходя из конструкции фасада здания вокзала.

Было многолюдно, впрочем, как всегда. И как всегда, при таком обилии пассажиров меня поражала тишина и отсутствие толчеи. Тишина — не совсем верное слово, правильнее сказать — шорох или шепот. Так шуршат снежинки, падая в глухой деревенской ночи.

Какое-то время я держалась вместе с соседями по капсуле. Загорелый старикан наконец успокоился, на прощанье произнес, не обращаясь ни к кому конкретно:

— Когда остаюсь наедине с собой, у меня не хватает смелости увидеть в себе художника в великом значении слова; я всего лишь развлекатель публики, понявший время. Это горько и больно, но это истина.

Он сморщился. Индианка с пулевым ранением во лбу тронула его руку и улыбнулась оленьими глазами. Итальянец хохотнул:

— Маэстро! Возьмите себя в руки и отнесите в безопасное место!

Художник отмахнулся от него и пошел прочь. Следом ушла индианка: она приложила ладонь к груди, склонив голову, сделала шаг назад и растворилась в толпе.

— Позвольте, сударыня, — итальянец тонким мизинцем заправил седоватую прядь за ухо, — позвольте сопроводить вас под аркады, синьорита...

— Синьора, — перебила я почти грубо. — Не позволю.

— Однако же, я имею сообщить сведения исключительной приятельности для вас...

Он подался ко мне. От него пахло сдобными булочками с корицей. Запах что-то мне напомнил, что-то мучительно неуловимое — кажется вот-вот, ихватишь, а нет — ускользнуло.

— Книги... — Итальянец зашептал мне в ухо: — Они запрещены Трибуналом Пяти, эти книги. «Ключ Соломонов», «Зекор-бен», «Пикатрикс» и наставление по влиянию планет «Плутония», какое позволяет с помощью благовоний и заклинаний вступать в беседу с демонами всякого чина...

— С корицей... — пробормотала я.

— Что? — Он запнулся, приоткрыв рот.

Вместо ответа я смачно поцеловала его в губы.

Вокруг сновали пассажиры, долетали обрывки фраз — вялые и легкие — безвольные, как тополиный пух.

— ... территория абсолютной свободы...

— ... истинное устройство...

— ... регистрация ночи...

Сверху зазвучала музыка, некая квинтэссенция всех вальсов — Кальман, Чайковский, Прокофьев были слиты в один сосуд и перемешаны кем-то умелым с превосходным музыкальным вкусом. Пассажиры сбились в пары и начали вальсировать.

— Позвольте?

Итальянец ухватил меня. Ловко и со знанием дела закружил — вот ведь щеголь, вот проныра! Зашушукал шепотом в ухо, жарким и щекотным. В ход пошли губы и язык. Ушная раковина стала центром вселенной, все мое существо, хихикая, блаженно перетекло туда.

Легче листа, пустая, как скорлупка, голова летела кругами, восьмерками, какими-то уж совсем немислимыми фигурами. Пол исчез — да и был ли он? Итальянец уже не казался таким уродливым, к тому же у него добавились еще как минимум две пары рук. С проворством похотливого осьминога он сжимал мою талию, ласкал мочку уха и массировал сосок левой груди, одновременно расстегивая лифчик и старался просунуть жаркую ладонь между моих слабеющих ляжек.

Я впилась в его карамельный рот. Нежно, жадно, страстно — как Руднева учила, — будто губами перезрелый персик хочешь высосать. Обвила руками. Мои ногти рвали шелк его камзола, миланское золотое шитье, воздушные кружева, сотканые усердными девственницами в слепых кельях брюссельских монастырей.

Весело трещал батист рубашки.

Бронзовые пуговицы, литые, с силуэтом крылатого льва, пулями летели во все стороны и падали в бездну, распахнувшуюся под нами. Я обхватила его цепкими ногами, скрестила их. Сдавила мускулистые ягодицы и начала движение. Как шоколадная папуаска, что скользит по полированному стволу пальмы к вожделенному кокосу. Упруго и ритмично, каждым толчком приближая полет.

Оргазм был чудесен, как глоток родниковой воды в темнице. Как утро отмененной казни. Как синее лето с желтым солнцем. Я захлебнулась и обратилась в стон. Звук растаял, едва окрасив воздух малиновым. Порочная ночь вздрогнула и замерла на полпути к безгрешному рассвету. Истома безмятежно перешла в меланхолию, та сменилась грустной пустотой; неясная звезда моргнула в прорехе холодных туч и погасла. Умерла. Все — занавес.

Часть третья

СНОВА ТУТ

13

Чертов дождь — я снова про него забыла. И снова забыла спросить, какая у него машина. Опыт предыдущих заходов не всегда совпадает с реальностью последующих. Прячась от ливня под козырьком кофейни, я достала телефон и еще раз проверила последний текст. Все правильно — девять тридцать вечера, высотка на Восстания, левое крыло. Три восклицательных знака, красное сердечко и два банана.

Мне хочется обставить мой выход таинственно. А с другой стороны непринужденно. Как совместить — неясно, чувствую, что краска течет по лицу, наверняка потекла и тушь. Вечерний город гремит, сверху давит коричневая тьма, сырая и тяжелая, которая исполняется теперь вместо заката в нашей столице. К ночи коричневое перетечет в чернильное —

без звезд и месяца — свинцовая тень, набухшая дождем, придавит город, расплзется по бульварам, просочится в переулки, проберется в щели приоткрытых форточек, зальется в жилища спящих грешников. Тайно, безжалостно, неотвратимо. Куда вообще подевались звезды?

Машина свернула с Баррикадной — важная, чересчур белая и слишком большая. Шелестя шинами, прокатила по лужам, разбрызгивая желтизну фонарей. Я вжалась в тень. Фары наощупь скользнули по мокрой стене, по ногам, вспыхнули на золотом боку водосточной трубы. Потекли дальше, выхватывая лишь серую пустоту, наскоро заштрихованную дождем.

Хлопнула дверь кофейни, оттуда пахнуло теплыми булочками с корицей и убежавшим молоком. На миг мое сознание куда-то провалилась, в какую-то невыносимо уютную муть с тоскливым персиковым выдохом на перистых облаках. Когда я вынырнула, его машина стояла передо мной. Морковного цвета «королла». В темноте салона призрачное лицо лунного цвета и торопливая рука, призывно зовущая внутрь.

Я открыла дверь, взглядом скользнув по крыше, — как новая, ни единой вмятины. Забралась и села, хлопнула дверью, слишком громко.

— Извини... — тихо сказала.

Он что-то буркнул ядовито-приветливо. Мы развернулись и въехали в переулок.

— Тебя никто не видел? — спросил.

Тон непринужденный, но с подкладкой из шершавого беспокойства. Мы обогнули высотку. Кровавая вывеска шахматного бара — ферзь и рюмка, мутные окна, еще одна вывеска — эта синяя с женским силуэтом из неона, салон красоты, должно быть. Костяшки его кулаков казались зеленоватыми в свете плывущих фонарей. Остановились на светофоре перед Садовым. Поворотник нервно начал цыкать. Наконец повернули, уже на красный, пугая суетливых пешеходов. Неуклюже втиснулись в правый ряд.

— Пригнись. Пожалуйста, — добавил, — тут студенты, да и на знакомых нарваться можно.

Безропотно сгорбилась, уткнув подбородок в мокрые коленки. Куртка сзади задралась, свитер тоже. Полоской голой спины я ощутила холодок сквозняка. Или то был его взгляд. Машина двигалась рывками, мы едва ползли.

— Чертовы пробки, — проворчал он, — через Климашкина нужно было...

Тут он, пожалуй, ошибался. Тишинка и Грузинская обычно забиты до самого Белорусского. Я рассматривала узор резинового коврика с засохшей грязью, застрявшей в бороздках. Лужицы, они натекли с меня, казались каплями черной смолы, иногда в них вспыхивали летящие блики. Узор коврика вдруг сложился в мрачную африканскую морду, морда оскалилась, подмигнула и пропала, рассыпавшись путаницей невинного орнамента. Откуда-то тихо дуло, тянуло теплой гарью и машинным маслом.

- Извини... Свернем сейчас.— С грубой лаской добавил: — Ты как там?
- Дивно! — Голос получился сдавленным, точно меня душили.
- Кстати, — сказал интимно, — готовься к сюрпризу, Злобина.
- Всегда готов! — Крякнула я из темноты.

14

Свернули, он попросил потерпеть еще и не высовываться. На Можайку вырулим, сказал, — вот тогда.

Спина затекла и ныла. Я покорно молчала, пытаюсь по изгибам улиц и поворотам догадаться, где мы сейчас едем. Он изредка строптиво обзывал соседних водителей, а то принимался бурчать, как будто про себя отвечал на не заданные мной вопросы.

Я взглянула на часы — десять ровно. Впереди была ночь, впереди была почти вечность. Я постаралась расслабить затекшую спину, шею тоже ломило. Вот уж никогда не думала, что лопатки могут так ныть.



Меня ожидала еще одна упоительная ночь — таинственная, мажущая, волшебная — полная жгучей страсти, восхитительной неги, тайного блаженства. Ночь любви. Между прочим, Клеопатре — если, конечно, верить легенде — за одну такую ночь отдельные безумцы были готовы платить жизнью.

Платить жизнью? Тень догадки моргнула и пропала. Жизнью? А почему бы и нет? В конце концов, на свете есть вещи и поважнее.

